

ИСПОВЕДЬ НИКОГО
или
КАК УБИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Учебное пособие

Здесь не литература. Я лишь переставил местами и кое-как связал для минимальной удобочитаемости ворох разрозненных фраз, лихорадочно брошенных в экран в напрасной попытке избавиться от душевной боли. Каждый день я нахожу все новые факты, новые свидетельства против меня. Всего не исчерпать. Разумеется, эти записки умрут вместе со мной. Однако раньше, возможно, попадутся на глаза кому-то, кто не захочет такой же участи, задумается. Тогда тень ее чистоты позволит себе хоть краешком коснуться и меня.

* * *

Она шагнула в бессмертие через окно на кухне. Падение с высоты — официальная формулировка. Но упало только тело — она освободилась от него. А выше ее не было, нет, и не будет никого. Ей теперь все равно, чем занимаются живые. И живым до нее дела нет. Но остался я — а значит, точка в этой истории еще не поставлена...

Следователь прокуратуры, участливая женщина средних лет, поспешила закрыть дело и выдать мне соответствующие разрешения. Все просто: психически больной человек в кризисном состоянии покончил с собой. Никакого криминала. Убитый горем муж в сопровождении участкового и агента ритуальной службы. Можно продолжать жить, для этого есть процедуры и правила.

Не так, господа. Произошло убийство: я убил самого дорогого для меня человека, тем самым, по сути, убив и себя. Можно ли доверять мне после этого? Чего стоят мои слова и дела? Порядочный человек не подаст мне руки.

Даже сейчас, я продолжаю ее убивать. Недостаточно мертвого тела, чтобы перестать жить. Человек жив, пока кто-то думает о нем как о живом. В прошлом она с кем-то общалась — и этот кто-то несет в себе частицу ее жизни. Но когда я ему рассказываю о ее смерти — эта частица тоже умирает. И каждый раз я чувствую себя убийцей.

Позвонили из языковой школы. У нее еще оставалось несколько оплаченных занятий в группе французского. Ужаснулись — и повесили трубку.

Потом я написал ее единственной подруге. Смерть отозвалась и в ней.

Потом сообщил нашему общему знакомому, французскому художнику, о котором она вспоминала незадолго до своего ухода. И эта ниточка оборвалась.

Потом узнали в танцевальной школе, где все еще надеялись заполучить нашу пару на новогодний концерт — румба, ее любимый танец.

Больше о ней думать некому. Остаются случайные встречи, и постепенно смерть пройдет и через них.

Я не был с ней, когда она ушла. Мне сообщили только на следующий день — и убили ее для меня. Еще утром я думал о ней как о живой, планировал какие-то дела, загадывал, как мы встретимся... К полудню все умерло.

Сейчас, когда пишу эти строки, она почти полностью свободна. Осталось еще чуть-чуть — то, что она успела внедрить в меня. Надеюсь, я не разучусь немного видеть ее глазами и немного жить по ее правилам... Это ненадолго. С моей смертью она умрет целиком.

Когда мы общаемся с мыслителями прошлых эпох, мы знаем, что они давно умерли. Но это не мешает нам воспринимать их как живых, поскольку они оставили в своих трудах нечто вечное. Она не хотела никому ничего оставлять, сама мысль об этом ее была чужда. Она была — сама жизнь, то, что нельзя оставить после себя. Погибла красота, ушло совершенство. Это страшнее любых смертей.

Ее убивали долго и многие. Можно перечислять часами. Но главный убийца — я. Какие там оправдания! Есть факты.

Разумеется, я вряд ли сумею обвинить себя с подобающей беспощадностью. Не хватит у меня силы духа. Умножьте все сказанное на десять, на сто — и вы получите настоящую меру моей вины.

И приговор мне — жить и чувствовать себя последней мразью, недостойной даже искупления смертью. Вот он, рожка в зеркале — как ни в чем не бывало. Даже не сильно поседел. Разве что похудел немного — оно только на пользу. И будет ходить на работу, заниматься домашними делами... И не понимать, зачем оно все теперь, когда время уже истекло. Пусть. Это его кара.

* * *

В учебниках прописано, что шизофрения связана с наследственностью. Дескать, имеется врожденная предрасположенность — а дальше дело случая, во что выреет. Возможно. Однако, когда мы с ней познакомились, она была совершенно нормальной женщиной — жизнерадостной, эмоциональной, с естественным интересом ко всему окружающему. В конце нашей совместной жизни — это больной человек, запуганный, уставший от жизни, разочаровавшийся во всем. Значит, я довел ее до такого состояния. Остается лишь выяснить, как.

* * *

Она вышла замуж не по любви. Не получилось с очередной влюбленностью (а, может, и получилось бы, если бы я не вмешался?) — а тут подвернулся по уши обалделый чудак, полное чучело... И снял квартиру, и настоял, чтобы она туда переехала... Она просто уступила, ничего не решая для себя. Но любила еще долго того, несбывшегося. Я не ревнив, и никогда не говорил с ней о прошлом. Но какая-то горечь в наших отношениях все-таки была.

Конечно, как муж я не годился никуда. Но всячески старался выполнять любые ее желания — на первых порах и это сходило. Потом она привыкла к моему присутствию, считала своей обязанностью беречь семью. А когда не стало работы — не стало и другого выхода.

Вероятно, в какой-то мере она меня все же любила. В последние годы она не раз говорила мне, что ей со мной интересно как ни с кем другим, что ей после меня скучно с другими людьми. Разумеется, это говорит лишь о недостатке общения — не с кем особо сравнивать. Плюс влияние болезни — страх и желание задобрить врага.

А я ее любил. Боготворил. Восторгался. Для меня она была всем. Но как редко я говорил ей о своей любви! А должен был. Ей нужно было постоянно чувствовать себя кому-то необходимой — кто как не я должен был дать ей такое чувство? Вместо этого я строил из себя делового, кормильца семьи... Где она теперь — семья?

Моя любовь была слишком тяжеловесна. Не было азарта, шарма, импровизации... Я горел мощно и ровно, это была домна — а она любила костры... Скорее всего, ей было невероятно скучно со мной.

Она была очень красива. Не какая-нибудь гламурная куколка. Это была красота как внутреннее движение, как вздох, как порыв... Но внешне выглядеть достойно она стремилась всегда. Она элегантно одевалась — даже в соседний магазин нельзя было выбежать в чем попало. Она не злоупотребляла косметикой — в основном, ухаживала за кожей. Конечно, она умела иногда подчеркнуть что-то, придать лицу особенное выражение. Но ей не нужно было рисовать на себе красоту — она и так была великолепна.

Она говорила мне, что все это для меня, что ей хочется, чтобы я ею гордился. А я был так скуп на похвалы! Принимал все как должное, как само собой разумеющееся.

Я всегда был очень сдержан в выражении чувств. Мне казалось, нельзя их разменивать на слова, превращать в пошлую рутину. С другой стороны, боялся обидеть ее лишним прикосновением — особенно вначале, когда еще был чужаком. А она — оставалась эмоционально обделенной. Ей хотелось, чтобы я подошел лишний раз, обнял, поцеловал... Но разве дождешься от бесчувственного болвана? И пришло другое чувство — страх. Время было такое, страшное.

Никогда не умел ее успокоить. Жил ее эмоциями. Если ей было хорошо — я был на седьмом небе. Но если к ней в душу заползало нечто дурное, то же настроение овладевало и мной — и мы усиливали друг друга вместо того, чтобы погасить злую волну.

У нас бывали размолвки — практически всегда первый шаг к примирению приходилось делать ей. Все выглядело так, будто она меня от себя отдаляла — и она же допускала к себе. Но в наших ссорах я виноват был больше нее, и должен был дать ей понять, что готов искупить вину. В конце концов, я этому научился — поздно!

* * *

Она была аспиранткой Института философии, писала диссертацию. Когда мы поженились, я мнил себя большим философом и попытался внедрить в ее текст какие-то из своих идей. Естественно, руководство этого принять не могло. Связи с институтом оборвались. И оборвалась еще одна ниточка, удерживающая ее в этом мире. Тогда это казалось неважным. Мы не осознавали, что страна уже на краю гибели. Думали: найдем, куда приложить силы. Оказалось — никому не нужны.

Не то, чтобы она горела наукой. Но это был ее мир, ей нравилась астрономия, ей хотелось этим заниматься. Но кому нужен профессиональный астроном в Москве? Все места заняты, они для своих, не для провинциальных выскочек... Даже планетарий — и тот на ремонте. Отменили преподавание астрономии в школах. Некоторое время она работала в библиотеке ИЗМИРАН — хоть какое-то отношение к профессии. Но жить было негде, сняли квартиру в Москве — и с работой пришлось расстаться. Так для нее закрылось небо.

Тогда думали: ладно, пускай... Зато есть шанс остаться в Москве, масса возможностей... Остались. Только возможности ушли. Кто мог предположить, что через несколько лет Москва станет совсем другой — жестокой, уродливой, чужой? — что придется выживать в незнакомой стране, куда мы вовсе не стремились попасть?

Да нам все же удалось попользоваться какими-то возможностями столицы. Ходили в театры, ездили в другие города и за границу. Ничего хорошего из этого не получилось. Незадолго до смерти она сказала мне, что была бы гораздо счастливее где-нибудь в провинции, работая обычной школьной учительницей, неподалеку от матери. Чтобы никогда не знать ни меня, ни сумасшедшей Москвы, ни прекрасно-недоступной Европы.

* * *

Пока у нее была возможность с кем-то общаться, болезнь никак не проявлялась. Потом, без работы, она превратилась в одинокую домохозяйку. Знакомые разлетелись кто куда, родственников мы никогда особо не жаловали — им хотелось как-то поэксплуатировать новоиспеченных москвичей. Единственная подруга далеко, со своими личными проблемами. С кем поговорить? Я вечно занят, мои друзья к ней относились весьма прохладно, равно как и она к ним. Тут и началось. Здоровая эмоциональность стала превращаться в болезненную чувствительность...

Она была одинока. Я пропадал на работе с раннего утра допоздна — надо было зарабатывать, сначала на квартиру, потом на существование... А ей хотелось чаще бывать вместе, делить на двоих то прекрасное, что она еще могла находить в этом страшном мире.

Одно время удавалось брать на неделе день — и проводить его с ней. Мы ходили в лес, на реку, ездили куда-нибудь — или просто сидели дома вдвоем. Потом стало сложнее, пришлось каждый день отсиживать положенные часы. Только выходные — но в выходные всегда столько домашних дел! В

последние годы у нас ни разу не было нормального отпуска, чтобы месяц ничего не делать по работе, быть только друг с другом. Несколько раз в год ездили куда-нибудь на неделю — тем и ограничивалось. А ей было мало. Ей хотелось быть вместе долго-долго, и чтобы никто не мешал. Будь я немного понятливей, плюнул бы я на опасения потерять место в кризис — да устроил бы побег на двоих...

Несколько раз она ездила к матери, на другой конец страны. Отношения у них были сложные, смесь любви и соперничества. Но разрываться между мужем и матерью — здоровья не добавляет. Там она рвалась в Москву, в Москве тосковала по родине. Мне бы предложить перевезти ее мать к нам, когда получили квартиру, — для общего спокойствия. Уж как-нибудь разместились бы. А ей было бы не так одиноко.

В первые годы нашего брака мы еще пытались поддерживать старые связи. Ходили в гости к ее знакомым, к моим... Но отношения быстро увяли, не было ничего для того, чтобы их поддержать. Слишком уж чужими были мы в кругу давних москвичей. Да и время наступало лихое — не до светской жизни.

Она ревновала меня к моим друзьям, к моим книгам, к работе, к Интернету... А я, видите ли, не мог ничем поступиться ради нее! Я был не с ней — и это ее убивало. Она не верила, что на самом деле я всегда думал о ней, и вдали от нее что-то делал для нее. Ей хотелось, чтобы я был здесь, рядом, осязаемо... Слишком мало выдавалось таких мгновений.

Я ничего не сделал, чтобы смягчить ее болезненное одиночество. С головой ушел в науку, мотался по разным местам: командировки, конференции, учеба... А она ждала. Иногда — неизвестно, чего.

Однажды, когда я готовил к защите диссертацию, мне пришлось остаться на работе на ночь, срочно доделать вычисления. Телефона у нас не было, о мобильниках тогда никто и не слыхивал. Никакой возможности предупредить. А она провела кошмарную ночь, одна, не зная, что думать... Это еще одна капля.

* * *

В последний год она слушала песни Вероники Долиной, особенно о сфинксе и о грустном лице — песни самоубийц. Обычно я с удовольствием выполнял ее просьбы найти в Сети какую-нибудь музыку — но на этот раз должен был задуматься, должен был понять, что неспроста это, что так разговаривает ее одиночество. Но не задумался, не понял. Казалось: ничего особенного, воспоминания...

Весной она перечитывала лермонтовского "Демона":

Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!

И рядом строки о страшной смерти. Если бы я обратил внимание, понял знак... Но не обратил и не понял. Слишком занят, весь в суетных делах... А настоящее дело-то было только одно: думать о ней и заботиться о ней.

Да, она задумала это давно и неотвратно шла к такому концу. И все же до последнего момента она ждала, что я сделаю что-нибудь, чтобы ее остановить. Она любила жизнь и хотела жить. А жизнь вела ее к смерти. И я, вместо того, чтобы поддержать, чтобы дать хоть какую-то опору и хотя бы иллюзорную надежду — вместо этого я, по сути, подталкивал ее к пропасти. Жесты, неосторожные жесткие слова, житейская беспомощность, недостойное поведение... Ей казалось, что я равнодушен к ней — это я-то, для которого ничего кроме нее в мире нет!

* * *

Болезнь пришла в самом конце 1980-х, когда мы, наконец, получили квартиру в Подмосковье, и можно было бы начинать строить свой дом. Но ей мешали соседи, мешали публичные мероприятия под окнами... Она плохо спала и становилась все более нервной. Я ничего не смог сделать, чтобы облегчить ей жизнь. Периодические нашествия моих родственников ее раздражали, ей противно было чувствовать себя под контролем. А потом пошли искусственные проблемы с продуктами, бесконечные очереди, быстро растущие цены и катастрофическое безденежье. На съемных квартирах мы полностью истратили мои сбережения; то, что казалось огромной суммой, за несколько лет обратилось в ноль.

В конце концов, удалось организовать обмен на более тихую часть города — первое время ей было очень хорошо. Такого уюта, как там, нигде не было — ни до, ни после. Но болезнь уже пустила корни. Начались головные боли, неожиданные вспышки ярости, капризы — так я это воспринимал. Мне бы подумать раньше о возможных последствиях, поискать что-нибудь для профилактики... Но я все писал свои трактаты, осваивал тонкости программирования...

И в конце концов перешел на работу в Москве. Отдалился от нее. Да, у нас не стало проблем с деньгами. Но появились проблемы с нервами.

В конце 1990-х она стала поддаваться болезни, плохо засыпала, ей мешал каждый шорох у соседей. Чтобы как-то отвлечься, она сидела допоздна и смотрела телевизор, без звука. А я приходил с работы поздно, и заваливался спать, чтобы в семь утра снова уезжать на работу. А должен был быть с ней, бодрствовать, успокаивать своим присутствием и участием! Еще одно предательство.

В мае-июне 1999-го удалось вывезти ее во Францию. Побывали в Париже, съездили на море... Восторг был поистине сокрушительный. После бури эмоций — возвращаться к жутким российским реалиям, снова тянуть ляжку... Она не выдержала контраста.

Летом 1999-го мы взялись за обмен подмосковной квартиры на Москву. Хотелось жить поближе к моей работе, чтобы не тратить два с лишним часа на дорогу в один конец. Но мы не могли предполагать, насколько это грязное дело. Я прорубался через все мерзости — а она не выдержала. Разразился кризис. В сентябре практически не мог работать — она сразу же вызывала меня к себе, ей было страшно. Остановиться с обменом было уже нельзя, пришлось идти до конца. Но ключи от новой квартиры я получил только через два дня после того, как она попала в больницу. Для нее новая квартира до конца оставалась чужой.

* * *

От работы до дома двадцать минут — чего еще желать? Поначалу она просто продолжала лечение. И радоваться жизни не могла. Вот тут бы как раз пригласить ее мать жить к нам! Но нет, у меня другая идея: купить еще квартиру в Подмосковье — и поселить ее мать там. Чтобы рядом, но не вместе. Она не возражала — она тогда вообще возражать была не в состоянии. Но с новой квартирой затягивалось. Когда удалось сделать — было уже поздно, ее мать получила тяжелую травму и осталась нетранспортабельной. Поехать к матери она не могла, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Через пару лет, когда удалось сняться с учета, мать умерла. Вероятно, тогда и начал созревать новый кризис.

К тому же появились проблемы на работе — пришлось искать новую. Нашел — но поначалу это было далеко, добираться больше часа. И отсиживать на первых порах от звонка до звонка. Ради чего мы переезжали в Москву?

Через несколько месяцев после смерти ее матери я пригласил работать в той же фирме моего друга. Мне казалось, я смогу сложить с себя офисное дежурство и высвободить время для нее. Но на практике без меня все равно не справлялись, приходилось висеть на телефоне, выправляя производственные косяки. Ее ревность не знала границ: она совершенно одна, а он там с кем-то развлекается, на работе! Она приходила в ярость при одной этой мысли. Да, я пообещал исправить дело — но уволить человека так сразу невозможно. Пришлось ждать больше года. Нервы не ждали.

* * *

После первой болезни она пыталась устроиться на работу в Москве. Но оказалась никому не ко двору. К торгашеству у нее склонности не было, обрабатывать клиентов она не умела. Ей бы что-нибудь вроде небольшой библиотеки... Но вакансий не нашлось. А я тогда занимался своей работой, и не позаботился о ее потребностях, не занялся реальным поиском вместе с ней. Время было упущено; чем дольше она сидела без работы — тем меньше шансов было что-то найти.

Позже я пробовал увлечь ее чем-то, найти какое-то занятие. Но в России ей места не было. Оставались только домашние дела — готовка, магазины... Она гениально готовила, и ей нравилось изобретать все новые чудеса кулинарии. А я еще ворчал, что мы слишком растолстеем при такой кормежке... Да черт бы с ним, с лишним весом! Лишь бы она не уходила.

Какое-то время она занималась перепечатыванием моих рукописей, в надежде, что удастся все это издать. В конце концов, кончились и рукописи, и возможности издаваться. Когда новый приступ болезни уже начался, она все просила дать ей что-нибудь для меня попечать — а я отвечал, что ничего нет, что все уже в электронном виде. Мог же придумать хоть что-нибудь, достать старые бумаги — чтобы дать ей ощущение нужности мне. Получилось, что я ее оттолкнул, не оставил места рядом с собой.

Пока были деньги, она помаленьку развлекалась хождением по магазинам. Покупала разные вещи, выбирая самое интересное. Но в доме было не так много места, и все необходимое у нас, в общем-то, уже было. А бессмысленные покупки ее не прельщали.

Поначалу она каждый раз просила деньги у меня. Потом я просто положил ей лимит расходов, и очень был недоволен, если требовалось купить что-то сверх лимита. Я упрекал ее в неэкономности, говорил, что ситуация в любой момент может испортиться, мне надо откладывать что-то на черный день. Да, когда грянул кризис, мои сбережения нам очень пригодились. Но пришел самый черный день — и на что они мне теперь, эти деньги?

Она обожала дарить мне подарки: навалить кучу и смотреть, как я все это разбираю, разворачиваю, примериваю... Но я все твердил, что у меня уже и так все есть, что мне ничего не нужно, что просто некуда класть... Вместо безоговорочной благодарности и восторга. Пусть бы потом все повыбрасывали — но вдвоем. А в итоге приходится уничтожать наши вещи одному.

Была возможность — занимались танцами. Но большинство школ расположены очень далеко, и занятия поздно. Пока удавалось что-то находить приемлемое — ездили. В последний год ничего подходящего не нашлось, и приходилось заниматься в танцевальной студии по соседству, где больше увлекались созданием театрализованных постановок вместо обычных балльных танцев. Дважды мы выступали в их концертах, до третьего выступления она не дожидая.

Выручали только занятия французским. Это ей по-настоящему нравилось, и были даже планы отправить ее на курсы за границу. Болезнь пришла раньше.

Уже заболевая, она вдруг увлеклась изучением компьютера. Раньше это было ей не интересно. Возможно, для нее это была дополнительная возможность побыть вместе со мной, делать что-то вместе. Так мало у нас было совместных дел. Все поодиночке. А я еще и возражал, когда она пыталась мне помочь в чем-то, говорил, что лучше все сделаю сам, что мне так удобнее. Надо же быть таким идиотом!

* * *

У меня всегда были принципы, определенные правила жизни. И я о них ей много раз говорил. Но если я понимал, что любые правила применимы лишь до поры, в определенных ситуациях, — то для нее они становились абсолютом, и она пыталась следовать моим жизненным принципам, чтобы мне угодить, даже тогда, когда ими можно и нужно было пренебречь. Так я лишал ее свободы, связывал по рукам и ногам.

Иногда, впрочем, мои понятия были откровенно вредны. Когда на мне висела какая-то работа, я очень не любил, если меня отвлекали, подходили с другими делами... А ей все время что-то требовалось — но под конец она просто опасалась приставать ко мне со своими запросами, когда я

такой деловой. Я оправдывал себя тем, что все делаю для нее. А она нуждалась в другом. Почему я присвоил себе право судить, что ей нужно, а что нет?

А сам при этом далеко не всегда вел себя, так ей бы хотелось, чтобы с достоинством и благородно. Я теряюсь при малейшем препятствии, начинаю раздражаться, становлюсь злым и агрессивным. Ей было стыдно за меня такого.

Она хотела, чтобы я менее легкомысленно относился к подбору одежды, чтобы следил за собой. Ей было бы приятно, если бы я и дома ходил в чем-то приличном, а не как придется... Какие-то мои жесты ее раздражали — я пытался исправиться, но все равно проскакивало что-то не то. Не выучить чувело на джентльмена.

Ей очень мешали соседи. Бесконечный стройки, грохот днем и ночью, гулянки, вопли и дикий топот... Ни днем, ни ночью покоя не было. А куда денешься? По горькому опыту она убедилась, что в этой стране везде одно и то же. А за границу уехать не удалось.

Я обязан был всячески ее поддерживать, быть вместе с ней против всех. Да, в целом я с ней соглашался. Но допускал иногда возражения: дескать, какой-то незначительный шум вполне простителен, нельзя требовать абсолютной тишины — мы же тоже иногда делаем что-то слышно... Она воспринимала эту глупую объективность как предательство, как будто я становился на сторону ее обидчиков. А сама вела себя тише мыши, всячески старалась, чтобы ее нельзя было упрекнуть в шумном образе жизни.

Бытовые проблемы преследовали нас всю жизнь. Приходилось куда-то ходить, чего-то добиваться. Мне это было противно — а для нее каждый раз оказывалось шоком. Любая мелочь в этой стране достается кровью и нервами. Я никак не мог понять, что правдоискательство неуместно в этой чужой стране, что нет уже никаких идеалов, которые можно было бы отстаивать при поддержке властей. Мне следовало бы пустить все по течению и принимать проблемы как есть, по возможности удерживаясь на плаву. Но я ходил и требовал того, что, вроде бы, по праву нам причитается. Я возмущался и протестовал, пытался что-то изменить. И не понимал, что все это отражается на ней, подтачивает и без того слабое здоровье.

Как-то так получалось, что мне постоянно приходилось принимать решения. Она очень не любила определенности — а делать можно только нечто конкретное. И вообразил я себя опорой семьи, льстил себе, будто я тащу на себе все. Ан, нет! Теперь-то ясно, что без нее вообще ничего не сдвинулось бы, что именно она направляла и устраивала нашу совместную жизнь, и ей нужны были адские силы, чтобы заставить мир двигаться в нужном направлении...

С ней было трудно. Но без нее — неизмеримо трудней.

* * *

Когда я нашел себе новую работу, стало свободнее с деньгами — и мы ездили вместе за границу. Это были счастливые дни, просветы, за которые приходилось расплачиваться тоскливыми буднями. Контраст между Европой и Россией — неизмерим. Ей нравилось там, ей хотелось, чтобы и здесь все было похоже, ну хоть чуть-чуть... Но так не бывает. И с каждой радостью становилось все больше печалей.

Я много снимал на камеру в Европе. Собирался смонтировать все это, чтобы она могла смотреть и вспоминать. Но никак не удавалось найти подходящие программы для захвата и монтажа видео, да и времени заняться вплотную — не оставалось. Да я особо и не торопился, все думал: успеем, вся жизнь впереди... Только летом 2012 удалось приступить к делу, и я записал ей пару фильмов про последнюю поездку. Но было уже поздно. Она их так и не увидела.

Ей хотелось выезжать чаще, убегать от этой ужасной страны при каждой возможности. Но я не мог себе позволить частые поездки из-за работы; да и кошка с возрастом все тяжелее переносила кошачью гостиницу. Я предложил ей время от времени ездить самой, и это, вроде бы, получалось. Она уже неплохо знала язык, и особых проблем за границей не возникало. Там она чувствовала себя лучше, чем дома. Но настоящего удовлетворения эти поездки ей не приносили. Они не устраняли ее одиночества. Да, мы каждый день говорили по телефону. Но ей хотелось делиться живыми впечатлениями, переживать все вдвоем. Она не хотела расставаться надолго — и поэтому даже

покупка квартиры за границей ее не привлекала, — что бы она там делала одна? Теперь мы расстались навсегда...

* * *

Из развлечений оставался только телевизор. Долго сидеть за компьютером она не могла — проблемы с позвоночником. Можно было бы расслабиться в удобном кресле, переключая каналы. Но смотреть особо не на что. Российское телевидение — это сплошной поток жестокости, агрессии, крови и слез... Ей становилось страшно; потом, когда вспыхнула болезнь, она даже думала, что кто-то специально подсовывает ей такие передачи, чтобы она окончательно сошла с ума. В наших заграничных поездках она могла видеть, что европейское телевидение совершенно не такое. Там телевизор был для нее наслаждением — всегда можно было найти что-нибудь вкусненькое... При первой же возможности установил stream. И она без усталости могла смотреть единственный доступный французский канал, tv5monde. Часто мы смотрели любимые передачи вместе — еще и удовольствие побыть вдвоем. Но в марте 2012 канал прекратили транслировать в России. Для нее это был удар, знак, что все кончается. Мне бы тогда сразу поставить тарелку — хоть какая-то отдушина. Но с деньгами было сложно, предстояли еще большие расходы... Да и она все никак не могла решиться. Должен я был бросить в дело все резервы, принять решение сам. Все тянул, ждал подходящего момента... А когда собрался — было уже поздно, ей стало не до телевидения.

Она хотела завести собаку — чтобы веселее. Но я все противился — то ее болезни мешали, то еще что-то... Она сама опасалась, что наша кошка не примет нового жильца. Да и на совместных поездках пришлось бы ставить крест. Может быть, стоило все-таки рискнуть? Уж выкрутились бы как-нибудь.

Экономический кризис заставил нас продавать вещи. Сначала я продавал что-то из своих, потом выставили на продажу и от нее — то, что ей было, вроде бы, не нужно. Но я-то должен был понимать, что сам факт распродажи возвращает память страшных лет начала перестройки — и начала ее болезни! Она очень переживала, когда мы продали ее телескоп. Да, получили приличные деньги, и это было важно, когда сидели без зарплаты... Да, она не могла им уже пользоваться из-за больной спины. Но такой моральный удар! Ее еще раз отлучили от неба.

* * *

Я не оправдал ее надежд. Это у меня старая привычка: подавать надежды — и вдребезги их разбивать. Надеялись на меня мои родители — не стал примерным сыном. Надеялись мои друзья — ничем я им не помог, только заимствовал чужие идеи. Руководство надеялось тоже зря — ни одно дело так и не удалось довести до логического завершения. Возможно, я и покончить-то с собой не могу из опасения: а вдруг и здесь не доведу дело до конца? Но это мелочи. Ее надежды были возвышенной и глубже.

Она хотела, чтобы все мои рукописи когда-нибудь были изданы и признаны, чтобы мое имя стало весомым в мировом масштабе. Она терпела мою бесконечную работу лишь для того, чтобы когда-нибудь из меня получилось нечто значительное. Ей было бы это приятно.

Но с публикациями было непросто, а с признанием еще сложнее. Даже то, что удавалось сделать, не приносило ожидаемых плодов, повисало в воздухе. Я защитил диссертацию — но не стал ученым. Весь эффект — небольшая надбавка к зарплате и дополнительные дни отпуска. Опубликовал несколько статей — но особого энтузиазма они у публики не вызвали, и скоро я растерял все приобретенные таким образом связи. Удалось опубликовать две книги стихов — это совсем не то, что она хотела бы видеть. Наконец, вышла книга с основательным изложением моих идей. Поначалу она, было, воспряла — и всячески торопила меня с новой книгой, касающейся вопросов физики и ее любимой астрономии. Но бытовые проблемы никак не давали вплотную приступить к компоновке рукописей. И, в конце концов, она разочаровалась, поняла, что новой книги так и не будет. Да, теперь уже не будет. Зачем мне все это без нее?

Она также надеялась, что я сумею завязать связи с иностранцами и пробиться работать за границу. Не получилось. Двери закрылись раньше, чем у нас появилась возможность ими воспользоваться. Потом была надежда хотя бы жилье за границей купить, где-нибудь у моря — и проводить там больше времени. Хозяин компании, в которой я работал, обещал помочь — но грянул кризис, банкротство, —

и денег не стало. После многомесячных задержек с зарплатой у нее не осталось надежды даже на редкие поездки, она просто не верила, что мы будем в состоянии это себе позволить. А после неслыханно наглого наезда коммунальщиков, обвинивших нас в том, чего мы никогда не делали, и угрожавших судом, она испугалась, что даже то жилье, которое у нас сейчас есть, — и которое досталось нам такой дорогой ценой, — отберут какие-то пройдохи. Вот и повод окончательно сойти с ума.

После стольких неудач — как мог я ее убедить, что никто нам ничего не сделает? Я проигрывал столько раз — нет мне больше веры.

Возможно, она почувствовала, что я устал, что у меня нет больше сил бороться. И испугалась, что я уйду раньше нее. Она говорила, что для нее тогда один выход — в окно. Я не должен был показывать ей, насколько мне надоела эта проклятая жизнь. Наоборот, мне надо было собраться и поддержать ее, сделать вид, что есть еще, куда идти. Но я не придавал большого значения своей смерти. Подумаешь! Еще оставались сбережения. Она могла бы продать дачу — и спокойно жить на эти деньги много лет. Но она не хотела просто небо коптить! Ей — как и мне теперь — не нужно безрадостное доживание. А пройти через российские бюрократические муки вокруг смерти — она бы, как я теперь понимаю, все равно не смогла.

Вот пример законченного неудачника: единственный раз в жизни пришло счастье — а я не сумел его сберечь.

* * *

Летом она рвалась возобновить учебу на курсах французского — но подходящих групп так и не появилось до октября, когда она уже не в состоянии была заниматься. Она хотела обратиться к своему прежнему репетитору — но я ее не поддержал. А зря! Да, те занятия были совершенно неэффективны; да, мне не платили на работе уже несколько месяцев... Но возможность расширения круга общения, шанс получить дополнительную внутреннюю опору — дороже любых денег. Может быть, это задержало бы развитие острой фазы ее болезни, и она осталась бы жить.

В конце июля я поехал на конгресс в Париж. Планировалось это давно, и она поначалу настаивала, чтобы я там выступил. Зря я это сделал. Именно за время моего отсутствия разыгрался приступ болезни — и остановить процесс стало невозможно. Я чувствовал в наших разговорах по телефону, что что-то не так, — но вырваться назад не мог, не было денег. Да и не верилось, что дело настолько серьезно.

Сразу после моего приезда она поехала в Ленинград — она давно мечтала об этом. В ту пару дней, что мы были вместе, она задавала странные вопросы — но я не придавал этому значения, надеялся, что отдохнет, посмотрит на море и фонтаны — и все пройдет. Но поездка стала кошмаром. Мне пришлось срочно лететь за ней, и я нашел ее в ужасном состоянии. Однако на утро все равно пошли с ней вместе гулять, поехали в Петергоф. Как-то она повеселела после этого, и вместе мы полетели домой. Там все покатило под гору. Я ходил на работу — а она звонила мне каждые несколько минут, ей было страшно.

Работа, работа... Как раз в последние месяцы было очень много работы — накопились производственные долги, пока я улаживал летом наши дела. И я пахал, как трактор, чтобы раскидаться по возможности. А надо было — бросить работу к чертовой матери, посидеть с ней неотлучно хотя бы месяц... Глядишь, была бы еще жива.

Тогда, в 1999-м, я полностью зависел от ее болезни, переживал ее страхи вместе с ней. На этот раз я попробовал занять более независимую позицию, не поддаваться ее бредовым фантазиям и всячески ее в них разубеждать. Думалось, так можно будет удержать ее в реальности. Экспериментатор хренов! Я был обязан быть рядом, не отстраняться.

Не хватало мне терпимости. Должен был ровнее относиться к ее бреду, не укорять ее, не относиться к ее ужасным измышлениям так эмоционально... Надо было нежнее, чтобы она видела мое сочувствие. Ни в коем случае не давить на больного человека.

Ехать к своему прежнему врачу она всячески отказывалась. Даже когда такси уже стояло у подъезда, а мы рядом, — она не поехала, и пришлось машину отпустить. Открыть бы мне в этот момент

дверцу, да запихнуть ее силой! Может быть, постеснялась бы отбиваться при соседях... Все-таки она уважала своего доктора и выполняла его предписания. И предписывать ему было бы легче, зная историю.

Удалось вызвать другого врача на дом. Прописали бешено дорогое лекарство — абилифай. Но она всячески уклонялась от него, заменяла на стимулотон, про который врач сказал, что это совершенно бесполезно в данной ситуации. А я все настаивал на соблюдении предписаний врача, и даже спрятал стимулотон подальше... Идиот. Уж лучше бы она хоть что-то принимала. Потом я вернул стимулотон назад — но было уже поздно, она отказалась и от него.

* * *

Мне еще удалось вывезти ее на море. Была надежда, что и на этот раз оно ее как-то поддержит. Поездка прошла без обычных для Турции поселенческих проблем, все было замечательно. Но ее это уже не радовало. Она, конечно, плавала несколько раз каждый день — но меньше обычного сидела у моря, ей становилось плохо — и приходилось прятаться в номер. Таблетки она по-прежнему принимала нерегулярно, и в сильно уменьшенных дозах. После поездки она отказалась от них совсем.

Две недели кошмаров. Она всего боялась, она уже не позволяла мне находиться при ней — а я покорно уходил в другую комнату и садился за компьютер, занимался все той же работой... Вместо того, чтобы никуда не отлучаться, пусть даже вопреки ее воле.

Мы еще пытались заниматься компьютером и французским. Она любила эти занятия, в эти мгновения мы были вместе... Она снова пошла на языковые курсы, но ей было трудно, страхи преследовали ее и там. Мог бы я оставить свою работу на полтора и просто посидеть рядом на время урока! Да и потом не отсылать ее домой одну.

Я все пытался общаться с ней, как со здоровой. И ее действия оценивал, как ее собственные поступки, а не проявления болезни. И, как и раньше, всячески остерегался идти ей наперекор, принимал ее слова за чистую монету... А должен был сделать поправку, понять, что нельзя разрешать больному человеку все, что не могут ее поступки расцениваться как проявления свободной воли. Надо было взять на себя всю ответственность и отправить ее в больницу вопреки ее сопротивлению, вопреки моим собственным опасениям и печальной памяти прошлого опыта...

* * *

Последние десять дней она все время пыталась прогнать меня из дома, отослать ночевать куда-нибудь в другое место. Выглядело это как продолжение бреда: я, вроде бы, не настоящий, меня подменили — и лучше, чтобы я ушел...

Сейчас я понимаю, что не случайно она так себя вела. Ей просто хотелось остаться ночью одной. Не от болезни это шло — от душевной деликатности. Днем она стеснялась, в темноте ей было легче решиться. Мое присутствие ничего не меняло: я бы все равно не успел помешать. Нет, она не хотела, чтобы я при этом присутствовал. Даже кошку поначалу пыталась удалить, заставить меня увезти ее с собой — но в последний момент пожалела, чтобы не мучить ее дальней дорогой, — в конце концов, что животное поймет? Но кошка поняла, и забилась в уголок, и притихла... А потом, через несколько недель, все пыталась найти ее, или потребовать, чтобы я ее вернул. Если бы я мог!

Она решила это давно. Даже подумала о том, чтобы посторонние люди, которые придут осматривать квартиру, нашли там аккуратный порядок. Она заставила меня подремонтировать кое-что, где было некрасиво. Хотела затеять основательный ремонт — но я отказался, мотивируя это тем, что надо ей сначала подлечиться... А мог бы задержать на время ремонта! Она ежедневно прибирала квартиру до блеска. Потребовала, чтобы я вычистил там, куда ей самой не дотянуться... А я, дурак, все приписывал ее бредовым идеям, думал, что преувеличенная страсть к чистоте — лишь продолжение ее страхов...

Взбираясь на подоконник, она подставила табурет, аккуратно сняла тапочки... Чтобы не оставить после себя беспорядка. Только, увы, не поняла, что главное — она сама, а без нее — всегда беспорядок.

В понедельник она не поехала на занятия по французскому и перестала заниматься дома. Я обязан был почувствовать, что это перелом, что она фактически попрощалась с жизнью. Но мне казалось, что это лишь слабость и невозможность сконцентрироваться из-за болезни. И что все еще наладиться, вылечится... Я упрекал ее в необязательности, говорил, что она должна заниматься, раз уж взялась. И не понял, что решение уже принято.

В пятницу, в день ее ухода у меня на работе все как-то очень правильно складывалось, хорошо продвинулся по ряду направлений. К тому же удалось существенно обновить мой персональный сайт. Успехи расслабляют. После трудов праведных, вроде, не грех и отдохнуть... А тут еще удачно попал к ее врачу... И с ней, вроде бы, неплохо говорили. Слишком много удач для одного дня — должен был насторожиться. Нет, напрягаться не стал. И маятник качнулся в обратную сторону — да так, что часы остановились навсегда.

Я не знал, что делать, я хотел с кем-нибудь посоветоваться, лучше всего — с профессионалом. И пошел в диспансер, к участковому психиатру. У меня не было ее документов — она мне их не дала бы. Но в регистратуре отнеслись сочувственно — и даже ее карточка каким-то чудом нашлась. Так что после трех я уже беседовал с врачом. С утра мы договаривались, что она тоже подъедет — разумеется, она не приехала. Попытался уговорить по телефону. Напрасно. Пришлось описывать врачу свои собственные впечатления. Но не будет же он ставить диагноз заочно! Даже приехать к ней на дом он по закону не имел права — она давно снята с учета. Единственный совет — все-таки уговорить ее приехать в диспансер, а в случае неадекватных действий вызывать дежурку из больницы. Вроде, все правильно... Но не имел я права так доверять этому чересчур самоуверенному молодому человеку! Сказал он мне подождать еще неделю — и я согласился, вместо того, чтобы немедленно вызвать скорую.

Я позволил ей обмануть меня, поверил ее вроде бы временному прояснению... И уехал на дачу. Думал: авось, без меня она будет спокойнее — не даром же она все время стремится меня прогнать? Да и я отдохну хоть ночь после двух с половиной месяцев сплошного кошмара... Не имел я права отдыхать! Должен был сидеть с ней неотрывно, днем и ночью! Что бы она ни говорила. Может быть, при мне она так и не решилась бы.

Она все время упрекала меня, что я отправил ее в больницу во время прошлого обострения, в 1999-м. Я же, — говорила она, — не была больна, мне было просто страшно. А ты обманул меня и поместил в это страшное заведение... Когда я напоминал ей, что снял ее с перил балкона, когда она пыталась прыгнуть вниз, — она отмахивалась: ну, это было не всерьез... А я, дурак, и понадеялся, что на этот раз тоже не всерьез!

Я был обязан предположить, что ее потянет вниз. Мне следовало заколотить окна, или хотя бы убрать ручки, чтобы окна не открывались. Конечно, это не гарантия — но затруднить решение могло бы.

Она была больна. Она все время находилась в бреде. И частью ее бреда было стремление всех вокруг выставить ее в неподобающем свете, опозорить, обесчестить. А тут вдруг она не смогла открыть дверь, возвращаясь в квартиру, — и целый час торчала под дверью, при соседях, которые тоже не могли открыть дверь (или, как она, скорее всего, думала, делали вид, что не могли — а на самом деле просто издевались над ней). Она испугалась, что в квартире кто-то есть. Она пыталась дозвониться до меня. Если бы я не отключил телефон, когда садился в метро! Тогда бы она как-то пробилась бы ко мне в перегонах — и у меня был бы прекрасный шанс вызвать скорую. А так — удалось связаться только потом, когда я уже был на другом конце Москвы. И вместо того, чтобы немедленно мчаться на помощь, — я лишь рассказал ей, как надо правильно открывать дверь. И она открыла... А потом окно...

Для нее все это было высшей степенью позора — перенести который она не смогла.

Но позор для меня — дрожать за свою шкуру, когда ее жизнь была под угрозой. Я помнил, как раньше ее болезнь выплескивалась в ужасающие вспышки агрессии. И боялся, что она вдруг набросится на меня в темноте... Это вместо того, чтобы думать о ее спасении.

* * *

У меня никогда не было никаких талантов. Полная посредственность. Существовать я мог, только высасывая соки из других, присваивая чужие мысли, эмоции, дела... Я пытался творить — но мое "творчество" чисто компилятивно, это коллаж, ассамбляж, инсталляция. Ничего оригинального. Все, с кем я общался, теряли что-то ради меня, ничего не получая взамен. Да, я сознавал свою беспомощность и признавал чужое превосходство. И это было бы нормально — если бы не могло убивать.

Есть люди, которые умеют уходить от духовных вампиров, вроде меня. Они придумывают изящную отговорку — и убегают. Она была чиста и возвышенна, ей стало жалко меня — и она попыталась мне помочь. И погибла из-за меня.

* * *

Почему-то самые страшные сны зачастую оказываются пророческими. В этот раз, как и в 1999-м, приступ начался со страха за жилье. Она испугалась, что такими муками доставшуюся квартиру у нее могут отнять, что все наши несчастья кем-то подстроены именно с этой целью. Потом это превратилось в бредовую мысль, будто я собираюсь с ней разделаться, довести ее до психушки, чтобы забрать себе квартиру, продать и жить на эти деньги с другой женщиной... Я высмеивал ее страхи, говорил, что это полная нелепость. Но получилось, что я и в самом деле заполучил ее долю, и в самом деле намерен все продать — просто не могу жить там. И денег от продажи мне с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь...

В бреду она воображала, что все вокруг вовлечены в глобальный заговор против нее, и я тоже. Вся наша с ней совместная жизнь — какой-то жестокий эксперимент, в котором ее всячески истязают неведомо для чего.

Так ли уж далек бред от реальности? По сути дела так оно и было: и я, и все окружающие делали все, чтобы ей больше не хотелось жить. Для этого не нужны заговоры, не нужна никакая организация. Это естественное проявление нашей дикости, бестактности, эгоизма... Она боролась с судьбой в одиночку — некому помочь. Трагическая гибель была неизбежна.

И кто все-таки болен? Она, стремившаяся к свету, — или все мы, погрязшие во тьме и лелеющие свое уродство? Мы оправдываем себя придуманной нами же объективностью и естественным порядком вещей. Мы не делаем ничего противоправного или аморального... Но мы не делаем также ничего, чтобы изменить наши варварские правила, — ничего нравственного. Тех же, кто пытается стать чуточку выше, — мы сталкиваем вниз. Мы, убийцы. И я в том числе.

* * *

Страшно признаться — но, пока она была жива, я иногда думал: а что бы я делал без нее? Придумывал какие-то занятия... Действительность оказалась сплошным ужасом, без малейшего шанса на спасение. Ничем я заняться без нее не могу, нет в этом больше никакого смысла.

Большой теоретик, я всегда отстаивал право человека уйти из жизни по разумному решению. И допускал, что при нашей жизни перспектив на что-то светлое уже нет, что нам все равно теперь только умирать. Даже сейчас — я все-таки признаю ее право на такой конец, каким бы сумасшедшим он мне не казался. Проблема только в том, что с ее уходом не стало и меня.

Мертвым не нужны памятники. Им вообще уже ничего не нужно. Живые все делают только для себя. Хранят или убивают память, видимость жизни. Живут иллюзией нужности — как будто возможно отдать невостребованные долги.

После ее ухода я лихорадочно что-то делал, прорубался через бюрократические препоны, организовывал кремацию и погребение — уничтожал ее личные вещи, то интимное, что она не хотела бы кому-то показать... Разбор ее вещей несколько недель доводил меня до полного физического изнеможения. Но зачем все это? Не ей это нужно, это я делал только для себя, чтобы не оставаться наедине со своей совестью. И этот текст, и мемориальный сайт — не для нее, не о ней — обо мне.

Я пытался снова включиться в производственные задачи — не помогает. Слишком бессмысленно. Зарплату нам по-прежнему не платят — это уже все равно. Ее никакими деньгами не воскресить, а мне ничего не нужно.

Возможно, я в конце концов переставлю все в доме по-другому, не как при ней. Или вообще избавлюсь от этой проклятой квартиры. Что толку? Забыть не получится все равно.

Кто-то, возможно, утешился бы воображаемым присутствием, поступая так, как если бы она об этом знала, как если бы она способна была одобрить или порицать. Нет, смерть — это реально. Мертвые свободны от желаний. Но как бы она ни захотела, ее гибель отделила и меня от всего мира невидимым барьером. Я уже не оттуда, я рядом с ней. И мне все равно, что делается у них.

Пусть я законченный мерзавец — но я любил ее, как умел. И не хочу жить без нее. Мне бы шагнуть в бездну вслед за ней... Нет, я трус. Одна надежда — убить себя работой. Я уже надорвал спину, и у меня боли в позвоночнике — как у нее. Я не могу спать по ночам, потому что снится мне только она, и больно, и совесть не дает покоя. Она тоже никак не могла заснуть — хотя была невинней ангелов. Мне хотелось бы сойти с ума. Вряд ли. Правда, есть наследственно слабое сердце. Скорее бы ему лопнуть!

Но нет, у меня еще остались кое-какие обязательства перед ней, которые она теперь не может с меня снять. Я выполню все до конца. А потом — в путь.

<http://jslpb.pjwb.org>

<http://jslpb.pjwb.net>

<http://jslpb.narod.ru>